

Николай Семёнович Лесков

Рассказы кстати



Николай Лесков
Рассказы кстати

«Public Domain»

Лесков Н. С.

Рассказы кстати / Н. С. Лесков — «Public Domain»,

Содержание

Совместители	5
Глава первая	6
Глава вторая	8
Глава третья	11
Глава четвертая	14
Глава пятая	16
Глава шестая	18
Глава седьмая	19
Глава восьмая	20
Глава девятая	21
Глава десятая	22
Глава одиннадцатая	23
Глава двенадцатая	24
Глава тринадцатая	26
Глава четырнадцатая	28
Старинные психопаты	29
Эпопея о Вишневском и его сродниках	31
Глава первая	31
Глава вторая	32
Глава третья	33
Глава четвертая	34
Глава пятая	36
Глава шестая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Николай Лесков

Рассказы кстати (Цикл)

Совместители

Буколическая повесть на исторической канве

Род сей ничем же изимается.

Совместительство у нас есть очень старое и очень важное зло. Даже когда по существу как будто ничему не мешает, оно все-таки составляет зло, – говорил некоторый знатный и правдивый человек и при этом рассказал следующий, по моему мнению, небезынтересный анекдотический случай из старого времени. – Дело идет о бывшем министре финансов, известном графе Канкрине. Я записал этот рассказ под свежим впечатлением, прямо со слов рассказчика, и так его здесь и передам, почти теми же словами, как слышал.

Глава первая

Граф Канкрин был деловит и умен, но любил поволочиться. Тогда было, впрочем, такое время, что все волочили. Даже впоследствии это перешло как бы в предание по финансовому ведомству, и покойный Вронченко тоже был превеликий ухаживатель: только в этом игры и любезности той не было, как в Канкрине.¹ Такое господствовало настроение: жизнь играла у гробового входа.

И те, кому волокитство уже ни на что не нужно было, и они все-таки старались не отставать от сверстников.

Если не для чего-нибудь, то хоть для порядка или приличия, все имели дам на попечении. В самой большой моде были танцорки или цыганки, но иногда и другие особы соответственного значения. И притом никто почти не скрывал свои грешки, а нередко даже желали их огласки. Это давало случай в обществе подшучивать над «старыми грешниками». О них рассказывали разные смешные анекдоты, а это делало грешникам известность и рекомендовало их как добрых и забавных вье-гарсонов.

Случалось, что имя грешника вспоминалось с какою-нибудь веселою шуткою при таких лицах, что это воспоминанью было полезно, и этим дорожили и умели обращать себе в выгоду.

Были даже такие старички, которые сами про себя нарочно сочиняли смешные любовные истории и доходили в этом до замечательной виртуозности. Позднейшие критики, не знавшие хорошо действительности прошлой жизни, приписали нигилистической поре стремление «пить втроем утренний чай»; но это несправедливо. Все это было известно гораздо раньше появления нигилистов и производилось гораздо крупнее, но только тогда на это был другой взгляд, и «чай втроем» не получал тенденциозных истолкований.

А что старички в то время очень, очень шалили и что грешки их забавляли общество – это вы можете видеть по театральному репертуару. Тогда нередко так с кого-нибудь прямиком и писали пьесы. Например, «Новички в любви», или «Его превосходительство, или Средство нравиться» – это все с натуры. Теперь всех этих пьес уже и названий не припомнишь, а тогда, бывало, выведенных лиц по именам в театре называли и смеялись. Многие актеры, особенно Мартынов, бывало, нарочно гримировались и копировали на сцене того, в кого метили. Был даже один такой случай, что некто, имевший желание о себе напомнить, сам избрал для этого театр и сам приезжал к Мартынову с просьбою: «нельзя ли так представить, чтобы его лицо узнали». Мартынов над этим просителем подсмеялся: он ему не отказал, но что-то такое как-то прикрасил по-своему и чуть-чуть не повредил почтенному человеку. Впрочем, дело обошлось, и тот возобновил себя у кого желал в памяти и получил солидную должность.

В министерстве финансов тогда собралась компания очень больших волокит, и сам министр считался в этой компании не последним. Любовных грешков у графа Канкрина, как у очень умного человека, с очень живою фантазией, было много, но к той поре, когда подошел комический случай, о котором теперь наступает рассказ, граф уже был в упадке телесных сил и не совсем охотно, а более для одного приличия вел знакомство с некоторой барынькой полуинтендантского происхождения.

Среди интендантов граф Канкрин был очень известен по его прежней службе, а может быть и по его прежней старательности в ухаживаниях за смазливими дамочками, или, как он их называл, «жоли-мордочками». Это совсем не то, что Тургенев называет в своих письмах *мордемондии*. «Мордемондии» – это начитанная противность, а «жоли-мордочки» – это была прелесть.

¹ Граф Егор Францович Канкрин род. 1774 г., состоял генерал-интендантом в 1812 г., а с 1823 года министром финансов. Умер в 1846 г. Был отличный финансист и известен также как писатель; писал на немецком языке. (Прим. Лескова.).

Притом, я не знаю, как это кажется вам, а я в этом названии слышу что-то веселое, молодое и беззаботное, и в слове «жоли-мордочка» не вижу ничего ни грубого, ни обидного для прекрасного пола.

В оное былое время, когда граф интендантствовал, «жоли-мордочки» его сильно занимали и немало ему стоили; но в ту пору, до которой доходит мой рассказ, он уже только «соблюдал приличия круга» и потому стал и расчетлив и ленив в оказательствах своего внимания даме.

А состоявшая в это время при нем «жоли-мордочка» была, как на трех, особа с некоторым образованием и очень живого характера: она требовала внимания, сердилась, капризничала, делала ему сцены и вообще хотела, чтобы он ею занимался и как-нибудь ее развлекал. Граф же был и стар и очень занят, да и по положению своему он не мог удовлетворять эти требования. А потому, поступая в духе времени, он очень желал, чтобы часть забот о развлечении молоденькой особы понес кто-нибудь другой. Это тогда не только допускалось, но даже и патронировалось. Одно лишь было в условиях этикета, чтобы совместитель был человек с тактом и не ронял значения главенствующего лица или патрона.

Таким дамам позволяли появляться с их адъютантами, где можно, в общественных местах, и это никому не вредило, потому что от этого шел хороший говор: «Вот-де князь NN надувает графа ZZ». А совсем никакого надувательства ни с чьей стороны и не было – все было с общего согласия, но только через хорошего «атташе» больше прославлялось имя патрона. Старичок, бывало, заедет утром, чашку кофе или шоколада выпьет и уедет и денег пачку оставит, а после визита приезжает совместитель, и идет счастливое препровождение времени.

Но нынешняя «жоли-мордочка» графа была капризница и дикарка: она ни с кем не знакомилась и тем ужасно обременяла графа непрерывными претензиями.

Он хотел отношений более удобных, а она скучала и совсем другое пела.

– Я, – говорит, – так, без участия сердца, жить не могу – я понимаю только одни серьезные отношения.

Граф ей несколько раз представлял, что ему невозможно сидеть у нее и оказывать «участие сердца», а она говорила:

– Нет, вы должны. Пойдем погуляем; я вам что-нибудь почитаю или поиграю.

Ни за что не хотела понять, что ему, как министру, это неудобно. Он и озаботился помирить ее требования как-нибудь иначе и сделал в этом направлении очень находчивый и смелый шаг; но только с хлопотами его вышел пресмешной казус.

Глава вторая

Граф жил летом в Лесном, который тогда считался очень хорошим дачным местом. Канкрин сам ведь и положил начало здешнему заселению и всегда Лесному покровительствовал.

Оттого, может быть, здесь и после долго жили директора из министерства финансов, но только это уж не то. Славы Лесного они не поддержали – она пала невозвратно. Даму свою Канкрин поместил от себя в сторонке, именно в Новой Деревне, где тогда тоже было еще довольно чистенько и прилично. На здешних дачах помещалось большинство нежных особ, имевших именитых попечителей. Дачи этих дам, бывало, заметны, и опытный глаз сейчас их узнавал по хорошим, густым занавескам и по тому, что из них чаще всего слышалось пение куплетов:

«В вас, конечно, нет дурного,
Только, – право не в упрек,
– Нет ли где-нибудь седого?»
– «Что-с?»

а хор отвечает:

Водится грешок!
Водится грешок!

Весело, очень весело жилося! И куда только все это ушло и куда миновалось с усилением разночинца!..

Как пошли петь под бряцание: «Ты душа ль моя, красна девица! Ты звезда ль моя ненаглядная», – так игривый куплет из комнатного пения и вывелся.

«Всякой вещи свое время под солнцем» – даже и куплету.

Так пройдет и оперетка, с которою нынче напрасно борются.

Все пройдет когда-нибудь в свое время.

Канкрин посещал свою пустыньницу всегда верхом и всегда без провожатого; но серьезный служебный недосуг мешал ему делать эти посещения так часто, как желала его неудобная, по серьезности своих требований, «жоли-мордочка». И выходило у них худо: та скучала и капризничала, а он, будучи обременен государственными вопросами и литературой, никак не мог угодить ей. Сцены она умела делать такие, что граф даже стал бояться один к ней ездить.

Рядом же с дачей графа Канкрин в Лесном в это лето поселился молодой, умный, прекрасно образованный и очень в свое время красивый гвардейский кавалерист П. Н. К—шин. Он был из дворян нашей Орловской губернии, и я знал его отца и весь род этих К—шиных: все были преумны и прекрасивы, этакие бравые, рослые, черноглазые, – просто молодцы.

Этот интересный сосед графа, несмотря на свои молодые годы и на военное звание, с представлением о котором у нас соединяется понятие о склонности к развеселому житью, вел жизнь самую уединенную – он все домоседничал и читал книги или играл на скрипке.

Игра на скрипке и обратила на него внимание графа, который тоже был музыкант, и притом очень неплохой музыкант. Граф играл на скрипке в темной комнате, примыкавшей к его кабинету, который был тоже полутемен, потому что окна его были заслонены деревьями и кроме того заставлены рамками, на которых была натянута темно-зеленая марли.

Офицер заиграет, а граф положит перо и слушает и, заинтересовавшись им, спрашивает один раз у своего латыша-камердинера:

– Кто это, братец, возле нас так хорошо играет?

Тот отвечает:

- Офицер какой-то, ваше сиятельство.
- Да кто же он такой – он какого полка?

Камердинер говорит:

- Я не знаю.
- Ну так я тебе приказываю: разузнай и доложи мне.

Камердинер все разузнал и вечером, когда стал раздевать графа, докладывает ему, что сосед их – молодой одинокий офицер самого щегольского кавалерийского полка, человек очень достаточный, а живет скромно. Графу это понравилось. Молодой человек и военный, если он все сидит дома да читает, то непременно, должно быть, он человек интересный и нравственный. Ветренник или гуляка не выдержал бы, он бы все бегал да на глазах мотался. У графа что-то на сон грядущий и замелькало в мечтах, а утром, только что граф просыпается, – офицер уже на самой тонкой струне выводит какую-то самую забористую паганиниевскую нотку.

«Ишь, однако, какой он досужий, этот офицерик!» – подумал граф, и ему захотелось посмотреть на соседа. А тот как раз подошел и стал со скрипкою у окна.

Камердинер говорит:

- Извольте, ваше сиятельство, смотреть: господин офицерик весь теперь в виду вашем.

Граф взглянул и отвечает камердинеру:

– Ты, братец, дурак. Разве это «офицерик»? Это целый офицер, да еще, пожалуй, даже офицерище!

И графу захотелось с этим соседом познакомиться.

На следующий же день, когда молодой офицер возвращался с купанья и проходил мимо ограды сада графа Канкрина, тот стоял у своей решетки и заговорил с ним.

- Извините меня, поручик, – это вы так хорошо играете на скрипке?

– Да, я играю, ваше сиятельство. Не смею думать, чтобы я играл хорошо, но прошу у вас извинения, если беспокою вас моею игрою. Я, впрочем, старался узнать время, когда я могу не нарушать вашего покоя.

– О нет, нет, нисколько. Сделайте милость, играйте! Я сам играю и прошу вас покорно – познакомимся. И у жены моей тоже собираются Klmperei.² Приходите ко мне запросто, по-соседски, и мы с вами вместе поиграем.

Молодой человек поклонился, а граф указал часы, когда его удобно посещать запросто, «по-соседски», и они расстались.

Кавалерист поблагодарил графа и очень умно воспользовался его приглашением. Он пришел к графу не очень скоро и не чересчур долго, а как того требовали вежливость и уважение к лицу Канкрина, человека действительно замечательного – и по уму, и по деятельности, и по таланту.

В два визита молодой, умный поручик чрезвычайно расположил к себе министра. Граф с удовольствием любовался прекрасным молодым человеком и втайне возымел на него свой план. Офицер ему казался как раз таким человеком, с которым он мог завоевать себе – если не область мира, то некоторую долю весьма желательного покоя. Короче и проще говоря, граф был уверен, что его беспокойная дама с серьезными взглядами и требованиями непременно этим молодым человеком заинтересуется. Стоит лишь их познакомить – и они станут вместе читать и разыгрывать дуэты, а ему, старичку, будет отдых. И вот, когда офицер еще раз навестил Канкрина, министр и сказал ему:

– Ах, поручик, какой сегодня хороший день. Мне совсем не хочется сидеть дома и читать мои скучные бумаги. Я бы с большим удовольствием проехался верхом, а от вас зависит сделать мне эту прогулку еще приятнее.

Тот говорит:

² Здесь: побренчать (нем.).

– Я к вашим услугам, – но только спрашивает, каким образом он может увеличить это удовольствие.

– А вот, – отвечает граф, – прикажите-ка, чтобы вам оседлали вашу лошадь да привели ее сюда, и поедемте вместе.

Офицер с удовольствием согласился. Приказание было немедленно отдано и исполнено: верховые лошади подведены к крыльцу, и граф с молодым человеком сели и поехали.

День был действительно прекрасный, располагающий человека хорошо себя чувствовать и весело болтать.

Канкрин был в своем обыкновенном, длиннополом военном сюртуке с красным воротником, в больших темных очках с боковыми зелеными стеклами и в галошах, которые он носил во всякую погоду и часто не снимал их даже в комнате. На голове граф имел военную фуражку с большим козырьком, который отенял все его лицо. Он вообще одевался чудаком и, несмотря на тогдашнюю строгость в отношении военной формы, позволял себе очень большие отступления и льготы. Государь этого как бы не замечал, а прочие и не смели замечать.

Всадники ехали довольно долго молча, но, несмотря на это молчание, видно было, что граф чувствует себя очень в духе. Он не раз улыбался и весело поглядывал на своего спутника, а потом, у одного поворота вправо к тогдашней опушке леса, остановил лошадь и сказал:

– А знаете ли что, поручик: не заедем ли мы с вами к одной прехорошенькой дамочке.

Молодой человек немного сконфузился от этой неожиданности и проговорил, что он не знает – ловко ли это будет с его стороны приехать незванным в незнакомый дом.

– О, не беспокойтесь, – отвечал граф. – Вы уже во всем в этом положитесь на меня. Я, конечно, знаю, куда вас приглашаю. Это, я вам скажу, премилая молодая особа, и держит себя совсем без глупых церемоний. Мы с нею давно друзья и вы, я уверен, непременно захотите с нею подружиться. Она довольно умна и прехорошенькая. По своим семейным обстоятельствам она живет совершенно одна – монастыркой и очень часто скучает. Это ее единственный, можно сказать, недостаток. Мы приедем очень кстати, и вы увидите, как она мило нам обрадуется и встретит нас *a bras-ouverts*.³

– В таком случае я в вашем распоряжении, – отвечал офицер.

– Ну вот и прекрасно! – воскликнул граф. – А эта милая дама и живет отсюда очень недалеко – в Новой Деревне, и дача ее как раз с этой стороны. Мы подедем к ее домику так, что нас решительно никто и не заметит. И она будет удивлена и обрадована, потому что я только вчера ее навещал, и она затомила меня жалобами на тоску одиночества. Вот мы и явимся ее веселить. Теперь пустим коней рысью и через четверть часа будем уже пить шоколад, сваренный самыми бесподобными ручками.

Офицер молча поклонился.

– Да, да, – продолжал Канкрин. – Вы не думайте, что это одни слова. Таких других ручек не скоро отыщете. Лавальер дорого дала бы, чтобы иметь такие ручки, потому что их-то ей и недоставало, но у этой госпожи ни в чем нет недостатка. Ну, давайте поводья, и мы сейчас будем там.

Поводья даны, и путники приехали так скоро, как обещал Канкрин. И другое его соображение тоже оказалось верно: при приближении их к дачке, обитаемой прелестною дамою, их действительно никто не заметил. На маленьком дворике была тишина – только чьи-то пестренькие цесарские куры похаживали и делали свойственные им фальшивые движения головами из стороны в сторону – точно они на кого-то кивали. Разрисованные сторы с пастушками и деревьями были опущены донизу, и из-за одной из них выглядывала морда сытого рыжего кота, но сама милая пустынноца была нигде не заметна и не спешила *a bras-ouverts* навстречу графу.

³ с распростертыми объятиями (*франц.*).

Глава третья

Через минуту приезд гостей был, однако, замечен и произвел смятение в маленьком домике. Владетельная обитательница дачи не показалась, а ее служанка взглянула в окно и тотчас же быстро снова исчезла. Запертую изнутри дверь открыли не совсем скоро, и вышедшая навстречу гостям девушка заговорила второпях, что «барышня» нездорова, а она оберегала ее, чтоб было тихо, и сама заснула.

Граф спросил:

– Чем Марья Степановна нездорова?

– Зубки у них болят – всю ночь не спали.

– А-а, зубки! Надо заговорить ее зубки.

Канкрин входил в комнаты, громко стуча своими галошами, а его спутник следовал молодой, легкой поступью за ним.

Горничная еще больше обеспокоилась и стала говорить:

– Осмелюсь доложить... Они сейчас выйдут, я им уже сказала, что вы пожаловали, и они одевают распашонку.

Образование тогда еще было распределено так неровно, что многие горничные не употребляли иностранное слово «пеньюар», а называли по-русски «распашонка».

– Ну, так мы подождем, пока она оденется, – отвечал граф и не пошел далее, а спокойно сел на широком оттомане и пригласил сесть офицера: – Садитесь, поручик. Не стесняйтесь, – я вас уверяю, что мы будем хорошо приняты.

Он понизил голос и, наклонясь к уху собеседника, добавил:

– Она немножко с душком – как и все хорошенькие женщины, – но это ровно ничего не значит: миленьким женщинам все простить можно. Притом же надо иметь снисхождение к ее положению. Как хотите, а оно немножко неправильно и уязвляет ее самолюбие. Конечно, она ни в чем не нуждается, но это все не то, что она намечала в своих мечтаниях. Она дочь почтенного человека и образована, притом мечтательна. Она прекрасно умеет рассказать свою историю и, верно, когда-нибудь вам ее расскажет. О, она преинтересная и любит «участие сердца».

И граф сообщил кое-что о странностях живого и смелого характера Марьи Степановны. Она жила в фаворе и на свободе у отца, потом в имении у бабушки, отчаянно ездит верхом, как наездница, стреляет с седла и прекрасно играет на бильярде. В ней есть немножко дикарки. Петербург ей в тягость, особенно как она здесь лишена живого сообщества равных ей людей – и ужасно скучает.

– Но вы понимаете, – продолжал граф, – что, после утомления однообразием характеров наших светских «кавалер-дам», этакое живое существо – оно, черт возьми, шевелит, оно волнуется и встряхивает свою кипучей натурой.

А Марья Степановна все-таки еще не показывалась.

Граф устал говорить, тем более что спутник его ничего ему не возражал, а только молча с ним соглашался и обводил глазами квартиру прелестной дамы в фальшивом положении. Как большинство всех дачных построек, это был животрепещущий домик с дощатыми переборками, оклеенными бумагой и выкрашенными клеевой краской.

Набивные бумажные обои тогда еще только начинали входить в употребление в городских домах, а дачные домики внутри раскрашивали и потолки их расписывали цветами и амурами.

Это тогда дешевле стоило и, по правде сказать, выходило недурно.

Убранство комнат было не бедное, но и не богатое, но какое-то особенное, как бы, например, походное или вообще полковое; точно как будто здесь жила не молоденькая красивая женщина, а, например, эскадронный командир, у которого лихость и отвага соединились с некото-

рым вкусом и любовью к изящному. Неплохие ковры, неплохие занавесы, диваны, фортепиано и цитра, но больше всего ковров. Все, где только можно повесить ковер, там покрыто и занавешено коврами. Огромный же персидский ковер закрывает от потолка до полу и всю дверь в спальню, где теперь за перегородкой одевается Марья Степановна.

А оттуда все-таки еще ни слуха ни духа.

– Однако долго она что-то надевает свою распашонку! – заметил граф и громко позвал по-русски:

– Марья Степановна!

Очень приятный грудной контральт отозвался из-за стенки:

– Сейчас.

– А когда же вы кончите свои Klimperei? мы уже устали вас ждать.

– Тем лучше.

– Да, но если вы скоро не выйдете, то я буду так дерзок, что пойду к вам.

– Вы этого не смеете. Впрочем, я сейчас, сейчас выйду.

– Все пукольки, пукольки, – пошутил граф.

Офицер приподнялся с дивана и начал рассматривать приставленную в углу комнаты доску, на которой был наклеен белый картон с расчерченными на нем кругами и со многими следами попавших сюда пуль.

– Это вот наша Диана изволит стрелять, – сказал граф.

– Довольно меткие выстрелы.

– Да, но ведь это не дозволено в жилом месте, и я уже из-за нее имел по этому поводу объяснения... Но, однако...

Граф сделал нетерпеливое движение и добавил:

– Этот прекрасный стрелок нынче так долго медлит, что я позволю себе сделать атаку.

И граф только что приподнялся с дивана, чтобы постучать в двери, как завешивавший дверь ковер отодвинулся, и в его полутемном отвороте появилась красивая Марья Степановна. Она в самом деле была очень хороша – хотя немножко полновата. Рост у нее был небольшой, но хороший, и притом удивительное античное телосложение, а лицо несколько смугловатое, с замечательным тонким очертанием, напоминающим новогреческий тип. Это прелестное лицо очень знали в Петербурге, и Марья Степановна впоследствии еще покорила много сердец и голов, так как с этого случая, о котором я теперь рассказываю, только началась ее настоящая карьера. Впоследствии из нее вышел такой на все руки боец и делец, через которого обделывались самые невозможные дела. Но мы, однако, не будем предупреждать события.

Граф подал Марье Степановне руку, а другою рукою поддержал ее за затылок под головку и поцеловал ее в лоб, который та подставила графу как истая леди.

Затем он представил хозяйке гостя, а тому сказал:

– Марья Степановна—мой друг: ее друзья – мои друзья, а врагов у нас с нею нет.

Марья Степановна ласково протянула гостью руку, а в сторону графа отвечала:

– Что до меня, то это не так: у меня враги есть и впредь очень быть могут, но я их никогда не замечаю.

Между тем, хотя она держала себя и очень самоуверенно и смело, но в ее лице, фигуре и в довольно хороших, но несколько нервных движениях было что-то немножко вульгарное и немножко тревожное, но тревожное, так сказать, «с предусмотрением» на всякий возможный случай. Она держалась прекрасно и говорила бойко и умно, не стесняясь своей очень очевидной роли, – что непременно стала бы делать женщина менее сообразительная; но только ей все-таки было не по себе, и она прибегла к общеармейскому средству: она пожаловалась на нездоровье, причем впала в довольно заметную ошибку: девушка ее говорила о зубной боли, а сама Марья Степановна возроптала на несносную мигрень.

Граф заметил ей это и рассмеялся, а она рассердилась и запальчиво ответила:

– Не все ли это равно.

– Ну, не совсем все равно.

– Совершенно равно: когда сильно болят зубы, тогда все болит. Не правда ли? – обратилась она к офицеру.

Тот согласился с шутливым поклоном.

– Вы очень милы, – отвечала она и снова обвела комнату взглядом, в котором читалось ее желание, чтобы визит посетителей сошел как можно короче. Когда же граф сказал ей, что они только выпьют у нее чашку шоколада и сейчас же уедут, то она просияла и, забыв роль больной, живо вышла из комнаты отдать приказания служанке, а граф в это время спросил своего спутника:

– Какова-с?

– Эта дама очень красива.

– Да, это лицо сотворено для художника – и она позировала перед Майковым. Приятный художник. Я его знал еще в двенадцатом году, когда он был офицером. Очень нежно пишет. Государь любит его кисть. У меня есть несколько головок Марьи Степановны, но тут у нее у самой есть с нее этюд, где видно больше, чем одна головка... Это ничего, что она полна. Майков был ею очарован. Говорят, будто он религиозен, – я этого не знаю, но он в беззастенчивом роде пишет прелестно. Вы видали его произведения в этом роде?

– Нет, – я о них только слышал.

– Ну, так вы сейчас это можете видеть: давайте вашу руку и идите за мною.

И Канкрин почти втянул офицера за собою в спальню красавицы, где над газированным уборным столом висел довольно большой, драпированный бархатом, портрет Марьи Степановны. Портрет действительно был хорошо написан, известными нежными майковскими лассировками и с большою классическою открытостью, позволявшею любоваться и формами и живым и сочным колоритом прелестного женского тела. Картина была вполне мастерская и вполне достойная живой красоты, которую она воспроизводила. Но майковские лассировки были очень нежны, а офицер был от природы сильно близорук и, чтобы рассмотреть картину, должен был стать к ней очень близко. Канкрин его сам к этому и подвинул, подведя вплотную к пышно убранному кисеею туалетному столику.

Тут и случилось самое неожиданное происшествие: офицер не заметил, как он запутался шпорами или саблей в легкие оборки кисейной отделки туалетного стола, а когда он нагнулся, чтобы поправить свою неловкость, то сделал другую, еще большую. Желая освободить себя из волн кисеи, он приподнял полу чехла и остолбенел: глазам его, как равно и глазам графа, представились под столом две неизвестно кому принадлежащие ноги в мужских сапогах и две руки, которые обхватывали эти ноги, чтобы удержать их в их неестественном компакте.

Глава четвертая

Молодой офицер был преисполнен жесточайшею на себя досадою за свою неловкость, и в то же время ему разом хотелось смеяться, и было жаль и этой дамы, и графа, и того неизвестного счастливица, кому принадлежали обретенные ноги.

Но положение сделалось еще труднее, когда офицер оглянулся и увидал, что сама Марья Степановна успела возвратиться и стояла тут же, на пороге открытой двери.

«Вот, черт возьми, положение!» – подумал он, и в его голове вдруг промелькнуло, как такие вещи разыгрываются у людей той или другой нации и того или другого круга, но ведь это все здесь не годится... Ведь это Канкрин! Он должен быть умен везде, во всяком положении, и если в данном досадном и смешном случае Марье Степановне предстояла задача показать присутствие духа, более чем нужно на седле и с ружьем в руках, то и он должен явить собою пример благоразумия!

Между тем картина не могла оставаться немой, – и граф был, очевидно, того же самого мнения.

Видя всеобщее удручение немой сценою, граф, нимало не теряя своего спокойного самообладания, нагнулся к задрапированному столу, из-под которого торчали ноги, и приветливо позвал:

– Милостивый государь!

Ответа не было.

– Молодой человек! – повторил граф.

Ноги слегка вздрогнули.

– Mon enfant,⁴ – обратился граф к Марье Степановне, – не можете ли вы мне сказать, как зовут этого странного молодого человека?

– Его зовут Иван Павлович, – отвечала покраснев, но с задором в голосе хозяйка.⁵

– Прекрасная вещь, но как жаль, что он так застенчив! Зачем он от нас прячется?

– Так... просто застенчив...

– Что за причуды сидеть под столом!

– Он прекрасно вышивает и помогал мне вышивать сюрприз ко дню вашего рождения и... сконфузился.

– Сюрприз ко дню моего рождения...

Граф послал ей рукою по воздуху поцелуй и добавил:

– Merci, mon enfant,⁶ Иван Павлович, выходите: вам там совсем неловко вышивать.

Гость под столом фыркнул от смеха и самым беззаботным, веселым голосом отвечал:

– Действительно, ваше сиятельство, неудобно.

И с этим вдруг, как арлекин из балаганного люка, перед ними появился штатский молодец в сюртучке не первой свежести, но с веселыми голубыми глазами, пунцовым ртом и такими русыми кудрями, от которых, как от нагретой проволоки, теплом палило...

Канкрин подал ему с лежавшего на столе серебряного plateau⁷ большую черепаховую грёбенку и сказал:

– Поправьте вашу прическу.

– Это напрасно, ваше сиятельство.

⁴ Дитя мое (франц.).

⁵ Имена героя и героини я ставлю не настоящие и фамилии их не обозначаю. От этого изображение эпохи и нравов, надеюсь, ничего не теряет. (Прим. Лескова.).

⁶ Спасибо, дитя мое (франц.).

⁷ подноса (франц.).

- Нет, она у вас в беспорядке.
- Все равно, ваше сиятельство, их причесать нельзя.
- Отчего?
- Они у меня не ложатся.
- Как не ложатся!
- Никогда, ваше сиятельство, не ложатся.
- Слышите! – обратился граф к офицеру; тот улыбнулся.
- Ну, а если их – эти ваши волосы намочить водою?
- И тогда не ложатся.
- Вот так натура! – подхватил граф и то же самое повторил, оборотясь к офицеру, а Марье

Степановне сказал по-французски:

- А вы напрасно говорите, что он конфузлив.
- Он теперь оправился, потому что вы его обласкали.
- А-а, это очень быть может, – согласился граф и закончил:
- Ведите же нас, милая хозяйка, к вашему столу.

С этим он подал Марье Степановне руку и провел ее к столу, где всех их ожидал шоколад.

На Ивана Павловича действительно была сказана напраслина, будто он конфузлив; но тем не менее он все-таки не знал, куда деть глаза, и министр вступился в его положение и начал его расспрашивать.

Глава пятая

- Служите ли вы где-нибудь, молодой человек?
- Служу, ваше сиятельство.
- И что же: везет ли вам на службе?
- Не знаю, как вам об этом доложить.
- Ну какое вы, например, занимаете место?
- Канцелярский чиновник.
- Еще не высоко! А давно уже служите?
- Пять лет.
- Что же вас не подвигают?
- Протекции не имею, ваше сиятельство.
- Надо иметь не протекцию, а способности и доброе прилежание при добром поведении.

Это гораздо надежнее.

- Никак нет, ваше сиятельство.
- Что значит ваше «никак нет»?
- Протекция гораздо надежней.
- Что за вздор вы говорите!
- Нет-с, это действительно так.
- Перестаньте, пожалуйста! Это даже думать так стыдно.
- Отчего же, ваше сиятельство, стыдно, – я это беру с практики.
- С какой практики? Велика ли еще ваша практика! Вы так молоды.
- Молод действительно, ваше сиятельство, но все так говорят, и я тоже по себе заключаю:

я считаюсь и способным, и все старание прилагаю, и ни в чем предосудительном в поведении не замечен, в этом, я думаю, Марья Степановна за меня поручиться может, потому что я ей уже три года известен...

- Ах, вы уже три года знакомы! – перебил граф. – Это раньше меня!
- Несколько менее, – заметила Марья Степановна.
- Да, действительно менее, – подхватил Иван Павлович.
- Он, однако, вовсе не застенчив, – шепнул ей на ухо граф.
- Вы его обласкали.
- Правда ваша, правда.
- А кто это, молодой человек, ваш главный начальник, при котором так мало значат труды

и способности, а все зависит от протекции?

- Прошу прощения у вашего сиятельства: этот вопрос меня затрудняет.

– Не стесняйтесь! Мы здесь встретились просто у общей знакомой – милой и доброй дамы и можем говорить откровенно. Кто ваш главный начальник?

- Вы, ваше сиятельство.
- Как я!

- Точно так, ваше сиятельство: я служу в министерстве финансов.

– Ну, послушайте, – обратился граф по-французски к Марье Степановне, – он совершенно не застенчив.

Та сделала нетерпеливое движение.

- Отчего же я вас, Иван Павлович, никогда не видал? – спросил граф.

– Нет, вы изволили меня видеть, только не заметили. Я во все праздники являюсь и расписываюсь на канцелярском листе раньше многих.

- Да как же, наконец, ваша фамилия?
- Я называюсь N—ов.

– N—ов, – так я произношу?

– Точно так, ваше сиятельство.

– Ну, adieu, mon enfant,⁸ – обратился граф к даме, – и au revoir, monsieur N – ов.⁹

Граф и его спутник простились, сели на своих коней и уехали.

Наблюдавший всю эту любопытную сцену офицер заметил, что Марья Степановна различила разницу посланного ей графом «adieu» от адресованного Ивану Павловичу «au revoir», но нимало этим не смутилась; что касается самого Ивана Павловича, то он при отъезде гостей со двора выстроился у окна и смотрел совсем победителем, а завитки его жестких, как сталь, волос казались еще сильнее наэлектризованными и топорщились кверху.

«Черт меня знает, на какое я налетел происшествие», – думал офицер и ощущал сильное желание как можно скорее расстаться с графом.

⁸ прощайте, мое дитя (*франц.*).

⁹ до свидания, господин N – ов (*франц.*).

Глава шестая

То же самое, в свою очередь, испытывал и Канкрин. И ему, разумеется, не было теперь удовольствия ехать с глазу на глаз вдвоем с малознакомым щегольским офицером, который видел его в смешном положении.

Как только они выехали за Новую Деревню, на лужайку к Лесному, граф говорит:

– Ну, вы теперь отсюда куда же?

Офицер понял, что тот хочет от него отделаться, и сам этому случаю обрадовался.

– Я, – говорит, – хотел бы заехать к одному товарищу здесь, в Старой Деревне.

– Что же, и прекрасно, вы не стесняйтесь. А я поеду на Каменный навестить, графа Панина.

Им дальше было не по дороге.

Граф остановил коня и крепко, дружески пожал офицеру руку.

Тот ощутил в этом пожатии целую скромную просьбу и в молчаливом поклоне умел выразить готовность ее исполнить.

– Спасибо, – отвечал Канкрин, и они расстались.

Граф, однако, обманул своего молодого друга – он не поехал к Панину, а возвратился домой и прошел к супруге. Графиня Екатерина Захаровна (рожденная Муравьева) в это время принимала у себя какого-то иностранца-пианиста, которого привез ей напоказ частый ее гость, известный в свое время откупщик Жадовский.

Графиня и Жадовский сидели и слушали артиста, который с величайшим старанием показывал им свое искусство в игре на фортепиано.

Граф даже не вошел в комнату, а только постоял в открытых дверях, держась обеими руками за притолки, а когда пьеса была окончена и графиня с Жадовским похлопали польщенному артисту, Канкрин, махнув рукою, произнес бесцеремонно «*miserable Klimpere!*»,¹⁰ и застучал обоими галошами по направлению к своему темному кабинету.

Здесь он надел на лоб козырек от фуражки, служивший ему вместо тафтяного зонтика, и сел за работу перед большим подсвечником, в котором горели в ряд шесть свечей под темным абажуром.

На половине «кавалер-дамы» Екатерины Захаровны (так величал ее покойный граф) долго еще оставались откупщик и артист и раздавалась «*miserable Klimpere!*», а граф все сидел и, может быть, обдумывал один из своих финансовых планов, а может быть просто дремал после прогулки на лошади. Но только возвратившийся домой спутник графа видел с своего балкона силуэт Канкрина на марли заставок очень долго, а утром рано опять уже послышалась его скрипка. Это значило, что Канкрин встал, умылся и, вместо утренней молитвы, играет в своей темной уборной.

Значит, его настроение находится в полном порядке.

¹⁰ жалкое брэнчанье (*франц. и нем.*).

Глава седьмая

На другой день, при докладе, Канкрин обратился к директору департамента, Александру Максимовичу Княжевичу, и спросил: есть ли у него канцелярский чиновник по фамилии N—ов?

Княжевич этого, наверно, и сам не знал, но отвечал, что, кажется, будто такой есть.

Спросили у эскутера, – оказалось, что действительно есть чиновник N—ов.

– А давно ли он служит и где воспитывался?

Отвечают, что служит уже около пяти лет (совершенно верно, как говорил сам Иван Павлович). А происходит он из небогатых курских дворян, мать его была в Судже акушеркою, а он обучался на средства какого-то благодетеля в курской гимназии и окончил курс.

Граф это выслушал и говорит:

– Я его видел. В курской гимназии хорошо воспитывают. У нас образованных молодых людей немного еще: нельзя ли нам его как-нибудь по службе поощрить?

А Александр Максимович Княжевич был иногда упрям и с странностями; он отвечал:

– У меня нет никаких вакансий.

Только тут же случился директор другого департамента, который был ловчее; этот и вызвался:

– У меня, – говорит, – ваше сиятельство, в одном отделении есть место помощника сто-лоначальника, и мне образованный, скромный молодой человек очень нужен.

Канкрин поблагодарил этого директора, и место Ивану Павловичу тотчас дали.

Как он был рад – уж это можно представить, но только на другой день, по подписании приказа, директор призвал Ивана Павловича к себе и говорит:

– Есть ли у вас вицмундир?

Иван Павлович отвечает:

– Никак нет, ваше превосходительство: я занимал до сих пор некласную должность и вицмундира себе не шил, да и шить не за что.

– Ну теперь, – отвечает директор, – вы повышены, и на класной должности вам вицмундир необходим. Я назначу вам из канцелярских сумм полтора рубля пособия, – извольте их получить и немедленно же закажите себе хороший вицмундир. Советую вам сделать его на Васильевском Острове у портного Доса. Он сам англичанин и всем англичанам работает. Его фракы очень солидно сидят, что для формы идет. Можете ему сказать, что я вас прислал: он и мне тоже работает. – А когда будете одеты, прошу ко мне явиться.

Дос сшил Ивану Павловичу такую вицмундирную пару, что тот сразу получил вид по крайней мере молодого сенатора.

– Чудесно сшито, – похвалил директор. – Теперь извольте же завтра представиться в этом вицмундире графу и поблагодарить его, так как вы вашим повышением обязаны непосредственному вниманию его сиятельства к вашим способностям и воспитанию.

«Эх, ты, черт возьми, какая загвоздка!» – подумал Иван Павлович.

Он и сам чувствовал в себе большую потребность благодарить графа, но, при воспоминании об обстоятельствах, которые предшествовали этому начальственному вниманию, мысли молодого человека путались. Ивану Павловичу казалось и смешно и даже как будто дерзко напоминать о себе графу предъявлением ему своей интересной самоличности. Иван Павлович думал так, что если он не пойдет благодарить, то это будет лучше: граф наверно не сочтет этого за непочтительность, а, напротив, похвалит его скромность; но директор понимал дело иначе и настоял, чтобы Иван Павлович непременно пошел представляться и благодарить.

Делать нечего, надо было повиноваться.

Глава восьмая

В нарочитый день, когда Канкрин принимал чиновников своего ведомства, стал перед ним в числе представлявшихся и Иван Павлович.

Только этот застенчивый человек, – сколько по скромности, столько же по тонкому расчету, – поместился ниже всех, в самом конце шеренги представлявшихся чинов. Этим Иван Павлович оказал скромность перед другими, более сановными лицами, а себе предуготовил ту выгоду, что, оставаясь последним, он мог принести свою благодарность министру наедине.

Действительно, так и пришлось: Канкрин отпустил по очереди всех представлявшихся, а потом подошел к последнему Ивану Павловичу и, не смотря ему в лицо, протянул руку, чтобы принять прошение.

Иван Павлович поклонился и молвил:

– Я, ваше сиятельство, не с прошением.

Канкрин вскинул на него глаза и проговорил:

– Что же вам угодно?

– Я являюсь, по приказанию директора, чтобы благодарить ваше сиятельство.

– За что?

– Я получил место...

– Прекрасно... я очень рад... Значит, вы его заслужили.

– Господин директор мне объявил, что вы сами изволили оказать мне в этом помощь.

– Очень может быть: вы мне помогали, а я вам помог. Это так и следовало. Желаю вам счастливо подвигаться вперед.

Граф поклонился и ушел, а директор призвал к себе в кабинет Ивана Павловича и спросил его, что с ним говорил министр при представлении.

Иван Павлович отвечал:

– Граф изволили быть со мною очень милостивы и пожелали мне «счастливо подвигаться вперед».

Директор сделал жест и говорит:

– Это прекрасно, – вы можете считать себя устроенным: граф очень проницателен, и он не ошибся отметить в вас способного молодого человека, которому стоило только сделать первый шаг. Этот шаг теперь вами и сделан, а дальнейшее зависит не от одних ваших стараний, но также и от сообразительности, – присядьте.

Иван Павлович поклонился.

– Присядьте, присядьте, – повторил директор, показывая ему на стул.

Тот сел.

Глава девятая

– Финансовая служба, – заговорил директор, – это не то что какая-нибудь другая служба. Она имеет свои особенности. Здесь идет дело не о юридических фантазиях, а о хозяйстве, – о всем, так сказать, достоянии России. Вот почему люди, которые допускаются к финансовым должностям, облакаются большим доверием начальства, и потому они должны быть ему крепки... Они должны, так сказать, представлять начальству в самих себе прочное ручательство, что, кроме естественно в каждом честном человеке предполагаемого сознания собственного достоинства и священного долга, они скрепили себя другими узами, которые в своем роде тоже равны присяге, потому что они произносятся перед алтарем и начертываются в сердце...

Директор был немножко поэт, но Иван Павлович в ту же минуту умел перелгать его оду на обыкновенный прозаический язык.

– Я говорю о том, – сказал директор, – что в финансовом ведомстве довольно трудно полагаться на холостых людей. Холостые люди – они, как мотыльки или как перелетные птички, всегда готовы порхать с цветка на цветок, с ветки на ветку. Посидел, вспорхнул – и нет его, и ищи где знаешь. В военной службе это, например, даже принято, но по финансовой службе это невозможно. Настоящий финансист, если он желает внушать к себе полное доверие, непременно должен иметь дорогих и близких его сердцу существ... Понимаете, чтобы ему было к кому чувствовать привязанность и было чем и для кого дорожить собою.

Директор чувствовал, что говорит вздор, и спешил окончить.

– Я разумею то, – заключил он, – что финансист непременно должен быть женат и иметь семейство. Да, да, да! Непременно! И я разумею не какое-нибудь ветреное семейство, составленное на холостую руку, а плотную и почтенную женатую жизнь. Истинный финансист, если он желает представлять собою надежные за себя ручательства, непременно должен быть женат. Одно глубоко и искренно уважаемое мною лицо, которого я не назову вам, раз прямо высказало мне свою тайную задушевную мысль, что, по его мнению, ответственные должности по финансовому ведомству предпочтительно надлежит доверять людям женатым. И мы этого держимся, если не совсем без отступлений, то по возможности мы женатым даем преимущества. Таковы почти правила для финансовой службы, если ею управляют как следует. И я хотел бы сказать, что это прекрасные правила, выработанные практикой и освященные временем. И для того, кто имеет благородное честолюбие и кто способен никогда не упускать из виду сделать себе быструю и хорошую карьеру, – я надеюсь, что я не говорю ничего необычайного и нового. Кто религиозен и кто уважает заповедь Божию, тот должен знать, что «не благо быть человеку одному». Этого положения обойти нельзя, ибо оно вечно, ибо это... так...

Директор поднялся с своего кресла, вознес вверх правую руку с двумя выпрямленными пальцами и dokonчил:

– Так сказал о человеке сам Бог!

С этим сановник вручил свои два пальца Ивану Павловичу и отпустил его со словами:

– И я так вам советую и желаю вам счастья и успехов. Ваш столоначальник почти такой же, как вы, молодой человек с прекрасным образованием и сердцем. Вам с ним будет приятно. В нем много самолюбия, и он на своем нынешнем посту долго не засидится. Я не люблю оставлять без поощрения людей способных и меня понимающих. Томить людей не следует, и никого из моих подчиненных не томить – это мое правило.

Они поклонились друг другу самым пристойным и самым выразительным манером.

Глава десятая

Спустя столько времени, сколько Ивану Павловичу показалось нужным для того, чтобы дело его имело надлежащий вид, он подал своему директору записку о разрешении ему вступить в законный брак с Марьей Степановной.

Граф Канкрин хотя с неудовольствием, но все-таки не отказал в просьбе Марьи Степановны и был у нее посаженным отцом.

Иван Павлович для этого случая обнаружил всю тонкость своего практического ума: он устроил свадьбу «по-английски» – тихую, в маленькой домово́й церкви, состоявшей на особых правах.

Министр ни малейшим образом не имел причины пожалеть о том, что он уступил *последней* просьбе своей милой знакомой, которой уже ранее сказал свое «adieu».

Она ему, впрочем, напомнила об этом «adieu», когда, по приезде из церкви, осталась на короткое мгновение вдвоем с глазу на глаз с графом.

– «Adieu», – сказала она, – может говорить женщина мужчине, но не мужчина женщине. Вы меня оскорбили – это на вас не похоже.

Граф извинился рассеянностью.

– Я очень рада, а то я начинала думать, что вы способны забывать свои самые лучшие философские правила.

– Например, какие?

– Никогда не говорить «никогда». Вы меня этому учини, и я помню.

Граф засмеялся – как будто этим ему было приведено на память что-то очень смешное и в то же время приятное.

– А что, видите, – вы мне, верно, не льстили, находя у меня «философскую складку».

– О, я вам нимало не льстил! Вы не только имеете «философскую складку», но вы совсем великий практический философ.

– И что же, должна ли я теперь сказать вам «adieu»?

– Mon ange,¹¹ – вы можете по-прежнему сказать au revoir.

И он взял и поцеловал ее руку, а она слегка коснулась его лба и слегка же уронила ему в ответ:

– По-прежнему.

¹¹ Мой ангел (франц.).

Глава одиннадцатая

Иван Павлович немедленно же получил место столоначальника и был очень счастлив в своей семейной жизни. Марья Степановна была ему прекрасною женою, что ей было и нетрудно, потому что она этого молодца в самом деле любила. Из ее приглашения графа к «прежнему» для супружеского счастья Ивана Павловича не выходило ничего угрожающего. Марья Степановна была не пустая, легкомысленная кокетка, которая способна упражняться в кокетстве по одной любви к этому искусству. Нет, Марья Степановна была умная женщина, и именно русская умная женщина, с практическим закалом. Она широко обзревала раскрывающееся перед нею поле жизни и умела отличать кажущееся от существенного. В самом ее красивом обличье тонкие черты новогреческого типа, если всматриваться в них, напоминали одновременно старый византизм и славянскую смышленность. В ней было что-то пристойное бывшей «матерой вдове Мамелефе Тимофеевне», перед которою в раздумье тыкали посошками в землю и трясли бородами поважные старцы, чувствуя, что при такой бабе им негоже над бабьею головою тешиться. Весь разговор, веденный Марьей Степановной с целью упомянуть про «прежнее», был умный прием не для возобновления прежних «пустяков», из которых Марья Степановна выбралась совсем не затем, чтобы к ним возвращаться, «как пес на своя блевотины», а для того, чтобы сохранить декорум. Она знала французское присловье, что и «королевская любовница не стоит честной жены пастуха» – и она вышла замуж недаром, не балуясь; но что могло быть пригодно, того она упускать тоже не хотела. Уважала или нет она своего Ивана Павловича, – это иной вопрос: умные, практические женщины редко кого уважают, да им это и не нужно; но она его *любила*, и этого с нее было довольно, чтобы сделать для него привязанность к ней легкою, приятною и ничем не возмутимою.

Как большинство женщин подобного практического склада, она любила Ивана Павловича просто за то, что он молодец собою, а притом расторопен, сметлив и ей послушен. Он ей во всем станет верить: она его ни в чем не обманет – именно потому, что он ей очень нравится, и они вдвоем заживут в мире и согласии без всякого уважения, и возьмут с жизни на свой бенефис прехорошую срывку.

А о том, что о них будут говорить, что о них станут думать, – этому вздору она знала настоящую цену.

«Будь бела как снег и чиста как лед, и все равно людская клевета тебя очернит».

Играя с графом на «прежних» струнах, она знала, что аккорд зазвучит так, как она захочет.

Уголь, который она раздувала будто бы неосторожно, был ей известен: она знала, что в нем есть некоторая теплота, но не осталось уже ни малейшей доли опасного пламени.

Но именно эта-то тихая и безопасная теплота ей и была полезна для ее целей. В ней именно и нуждалось их все-таки пока еще совсем неустроенное и несогретое домашнее гнездышко. Граф был нужен, – и Иван Павлович знал это ничуть не менее, чем его супруга. А потому, когда Канкрин, считая себя совершенно уединенным с Марьей Степановной, целовал ее пальчик в знак восстановления чего-то «прежнего», – Иван Павлович, стоя за дверью с шампанскою бутылкою, придерживал подрезанную пробку, чтобы она не хлопнула ранее, чем разговор будет кончен.

Он явился с вином как раз вовремя и кстати, когда все нужное уже было сказано.

Глава двенадцатая

Иван Павлович, при всей его малозначительности для такого несомненно большого человека, как граф Канкрин, сделался тем, что был какой-то сомнительный дух, вызванный из какой-то бездны словом очень неосторожного аскета.

Выскочил Иван Павлович перед графом из-под уборного стола неожиданно, как гороховый росток из пупа индийского дервиша, которого описывает болтливый француз Жаколио, а убрать его назад с глаз долой сделалось трудно.

Это произошло, во-первых, от изящной манеры графа никогда не оставлять без внимания тех дам, с которыми он был однажды ласков, и во-вторых – тут оказались на античных ручках Марьи Степановны (которым могла позавидовать Лавальер) забористые коготки «матерой» Мамелефы Тимофеевны.

Граф был поражен, как начальник колена Иуды, от собственных чресл своих: он не мог отбиться от предупредительного желания угодить ему в лице Ивана Павловича. Этот молодой счастливец в начале следующего года был представлен уже в начальники отделения. Канкрин его утвердил – хотя, впрочем, осведомился:

– Что же, разве он очень способен?

Ему отвечали:

– О да-с; он очень способен.

Министр не имел никаких причин оспаривать заключения ближайшего начальника, и Иван Павлович стал начальником отделения.

Это великий уряд в департаментской иерархии. С этого уряда начинается уже приятная положительность не только в департаменте, но и в мире. Начальника отделения уже не вышвыривают из службы, как мелкую сошку, а с ним церемонятся и даже в случае обнаружения за ним каких-нибудь больших грехов – его все-таки спускают благовидно. Начальник отделения получает позицию – он уже может пробираться в члены благотворительных обществ, а оттуда его начинают «проводить в дома». И положение его все лепится глаже и выше.

Для жены чиновника достижение мужем места начальника отделения было еще важнее. Теперь это значительно изменилось, потому что иерархия вообще расслабела и потеряла престиж, но тогда и женщины ее знали и соблюдали. Все жены лиц низшего положения иначе не назывались, как «наши чиновницы», ниже которых были одни курьерши, а с жен начальников отделений уже начинались «наши министерские дамы». Эти уже не ходили на Пасху в приходский храм, а приезжали в «свою министерскую церковь», где их с предупредительностью провожал дежурный чиновник и подавал унесенное из канцелярии мужнино кресло; дьякон подкаждал им грациозным движением щегольски рокошущего кадила с стираксой, а батюшка говорил: «цветите и благоухайте!»

После пасхального служения у начальниц отделения уже нередко целовали ручки даже сами директора, а взамен того мужа начальниц поздравляли лично директорш...

Это уже был «министерский круг», соприкасающийся с «кабинетом», а не канцелярия, которая граничит с курьерской.

Иван Павлович с Марьей Степановной преодолели эти ступени, но они не думали на них остановиться. Да, по правде сказать, это им было и невозможно, ибо, несмотря на то, что официальная часть положения была теперь в порядке, но в неофициальной многое не ладилось: дамы называли Марью Степановну «*сi-devant*»¹² и немножечко от нее сторонились.

Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы образовать свой круг и заставить отдать справедливость своим способностям, которые в самом деле были достойны внимания.

¹² «бывшей» (франц.).

Марья Степановна кое-что придумала. Она нашла повод видеться со Скобелевым, который когда-то знал ее ничем не знаменитого отца. Старый комендант тоже был не прочь прихлопнуться и обошелся приветливо с милой дамой, а она заинтересовалась его рассказами. Она вообще попробовала кое-что говорить о литературе и увидела, что в России ничего нет легче, как это. Скобелев заходил к ней пить чай и иногда излагал такие рассказы, которые не были напечатаны.

Марья Степановна чувствовала вкус к простонародности – там столько сердца, ума и юмора...

Скобелев находил, что все это есть и в самой в ней.

В самом деле: разве находка у нее нынешнего мужа в некотором роде не самая простонародная сцена? Разве это не отдает «Москалем Чаривником»?.. Как хороша взаправду живая народная жизнь! Марья Степановна почувствовала негодование к выходкам против Белинского. Скобелев ей открыл более, и она добилась случая видеть раз знаменитого критика. Потом у ней пил чай и что-то читал Николай Полевой, и кто-то с кем-то спорил о славянофилах и о необычайном уме молодого Хомякова.

Это произвело свое действие: «министерские дамы» изменили неглижированную презрительность на сосредоточенную сухость, в которой одновременно ощущались и надмение и зависть.

С таким недоброжелательством со стороны искренних уже можно было жить.

Марья Степановна пошла пожинать плоды умного посева.

Глава тринадцатая

Марья Степановна, разумеется, не могла любить литературу, а имела ее лишь только для своих практических целей. Литература представляет большое удобство, когда хочешь говорить о чем-нибудь, а не о ком-нибудь, – так, однако, чтобы это было для нас полезно. Она усвоила две-три мысли Белинского, знала какое-то непримиримое положение Хомякова и склонялась на сторону Иннокентия против Филарета. Словом – впала, что называется, в сферу высших вопросов.

Это дало ей апломб и заставило многих кивать головами: «чем-то это кончится?»

Иван Павлович уже был сделан вице-директором. Полагали, что это по жене, у которой такие прекрасные, хотя, быть может, и не безопасные знакомства.

Только она уже очень рисковала. Граф Канкрин был человек довольно свободных взглядов, однако сказывали, что и он, подписывая назначение Ивана Павловича вице-директором, поморщился.

Но судьба Ивану Павловичу служила с невероятной преданностью: как нарочно, случались такие дела, что надо было командировать туда и сюда лиц способных и достойных, и всякий раз министру представляли для таких дел Ивана Павловича.

Это было очень неприятно Канкрину, и он одно представление отложил в сторону, – сделать было неудобно; но через несколько дней граф был на одном музыкально-литературном «soirée intime»,¹³ куда гости попадали не иначе, как сквозь фильтр, – и вдруг там, в одном укромном уголке, граф встретил скромную женскую фигуру, которая ему сделала глубокий поклон с оттенком подчиненности и иронии и произнесла только одно слово:

– Excellence!¹⁴

Граф не ожидал ее здесь встретить и, немножко взволновавшись, взял ее за руку и сказал:

– Ах, мой друг, – ведь уж для него много сделано – что же такое нужно, чтобы я еще сделал?

– Только не мешайте.

Граф улыбнулся и отвечал:

– Это напоминает комедию: «Одно слово министру». – Ну, хорошо: я подпишу.

И он подписал Ивану Павловичу новое повышение.

Сила ее над графом была доказана. Пусть он и морщится, когда ему представляют Ивана Павловича, но в общем сочетании различных комбинаций все-таки приятно. Вскоре к протекции Марьи Степановны стали прибегать сторонние люди, имевшие в графе надобность по делам, и, престранная вещь, – тоже выходило успешно...

Было ли это случайное совпадение обстоятельств или нет, – в этом трудно было разобраться.

Пошло какое-то жужжанье, в котором мешали всё, упоминая что-то и про Иннокентия и про Хомякова, – и вдруг также что-то такое про взятку...

Словом, являлось острое положение, в котором надо – как говорят игроки – «квит или двойной куш».

Марья Степановна повела на двойной куш, и об Иване Павловиче в самую неожиданную минуту последовало новое представление графу к повышению.

Граф вскипел.

– Что такое!.. куда его еще!.. И притом я что-то слышал...

Представлявший отлично знал, с кем имеет дело, и хорошо нашелся.

¹³ интимный вечер (франц.).

¹⁴ Ваше сиятельство! (франц.)

– Да, – отвечал он, – я знаю, что говорят: это очень жалко, но это не его вина, – а вина его жены, которая увлечена идеями славянофильства Хомякова...

Славянофильство графу было противно.

– Что такое? Какие хомяковские идеи? Это что-то про сорок мучеников... Я в этом решительно ничего не понимаю. Оставьте у меня бумаги.

Но тотчас же где-то и как-то опять является «она, прелестной простоты полна», и даже без «excellence», а с одним поклоном, и дает делу желанное направление.

Увидав ее в высоком круге, граф захотел во что бы то ни стало раз и навсегда избавиться и от нее и от ее мужа самым решительным приемом.

Он сам с нею остановился, сам взял ее за руку и сказал:

– Я все, все сделаю, но другим образом.

Марья Степановна отвечала:

– Я всегда верю вашему рыцарскому слову.

Глава четырнадцатая

Дело о карьере Ивана Павловича приходилось завершать – только бы не быть более с ним вместе.

Граф сделал комбинацию. Другое лицо большого положения – граф Панин имел надобность в услуге министра финансов.

Канкрин ее сделал скоро и охотно, а чрез некоторое время явился просить за подчиненного, которого заслуг он не в силах совместить с ограниченностью персонала по своему ведомству.

Граф Панин пожевал и отвечал, что «совмещать» многое очень трудно, и свободнее других это может разве Перовский, у которого не перечесть сколько хороших мест, находящихся в его власти.

Перовский это и сделал, а Канкрин, подписывая бумагу о согласии на перевод Ивана Павловича в другое ведомство, совсем неожиданно для предстоявших перекрестился по-русски, как сам Хомяков, и сказал:

– Это, как там говорят, «нынче отпускаеши». Наконец я не буду опасаться, что мне представят, чтобы я его утвердил начальником самому себе.

Так все были введены в обман и думали, будто, представляя Ивана Павловича, делали графу неописанное удовольствие, тогда как это было совсем напротив.

Но собственно «отпущения» графу все-таки не было. В Петербурге поняли, что в услужливости ему в лице Ивана Павловича было много ошибочного, но в провинции, куда этот карьерист поехал большим лицом и где первенствующее положение Марье Степановне уже принадлежало по праву, они были встречены иначе. В оседавшее тесто словно подпустили свежих дрожжей, и оно пошло подниматься на опаре.

Марья Степановна слыла всемогущею по своему прежнему положению и совмещала теперь это с выгодами нового положения: она стояла выше того, чтобы ее подозревать в искаренности: она говорила словами Белинского «о человеке нравственно-развитом», следила за Хомяковым, беседовала с Иннокентием и... брала самые отчаянные взятки даже по таким ведомствам, которые были чужды непосредственному влиянию ее мужа. Все думали, что в ее лице заключается всеобщее надежное «совместительство».

С кем она делилась тем, что взимала, – это была ее тайна, но граф напрасно думал, будто его решительная мера отстранения совместителей от непосредственного участия в ведомстве освободила его на самом деле от их влияния.

– Совместительство, как лезть, может являться в разнообразных формах, и где не промчится зверем рысучим, там проползет змеею или перепорхнет легкой пташечкой. Надо свет переделать или, другими словами, приучить людей, чтобы они в каждом деле старались служить делу, а не лицам. Вот это поистине прекрасная задача, и добром вспомнется имя того, кто ей с умением служит.

Так закончил свой рассказ правдивый и умный человек, со слов которого мною теперь передана вышеизложенная историйка «о совместителе».

Впервые напечатано – журнал «Новь», 1884.

Старинные психопаты

Что взаправду было и что миром сложено – не распознаешь.

В. Даль

Полагаю, что редко кому не приводилось слышать или читать рассказ о каком-нибудь более или менее любопытном событии, выдаваемый автором или рассказчиком за новое, тогда как новость эта уже давно сообщена другими в том же самом виде или немножко измененная. И читать и слышать такие вещи бывает досадно. Еще досаднее, когда случится самому принять такой рассказ за действительную новость и потом неосторожно передать его – как происшествие, бывшее с приятелем или знакомым, живущим будто там-то и там-то. И вдруг оказывается, что все это или было когда-то очень давно, в Нормандии, с бароном, который имел большую слабость к псам и жил с деревенской простотою, или же и вовсе этого никогда еще нигде не было. Такие смешные, а отчасти иногда и неприятные казусы бывали, я думаю, с каждым; но частный человек, не занимающийся литературою, не знает, как легко можно подпасть тому же самому при литературных занятиях и во сколько досаднее и обиднее попасться с этим не в устной беседе, а с записью «черным по белому». Между тем в последнее время, бог весть по каким причинам, в нашей литературе беспрестанно начинают встречаться сказания о таких историях, которые уже давно оповеданы.

И еще того удивительнее – замечаются случаи, когда вымышленный рассказ после весьма небольшого промежутка времени объявляется за действительное событие или с маленькими изменениями пересказывается заново как факт, имевший будто бы действительное бытие в другом месте.

В первом роде мы не раз доходили до повторения заново старой выдумки об «иперболе», поедавшей много сена, а во втором – я могу указать два лично меня касающиеся случая: первый был с моим «Сказом о тульском косом Левше и о стальной блохе», а второй – с рассказом «Путешествие с нигилистом». Оба эти рассказа несколько лет тому назад мною *выдуманы* и напечатаны – первый в «Руси» И. С. Аксакова, а второй – в «Новом времени» А. С. Суворина: но «Левшу» критики объявили историей, которая им будто давно была известна, а с «Путешествием с нигилистом» случилось нечто еще более странное. Этот последний рассказ состоял в том, что несколько человек, едучи в вагоне железной дороги, вели будто беседу о различных страхах и мало-помалу наэлектризовались до того, что сами начали всего бояться. Вдруг им стал казаться подозрительным молчаливый пассажир, перед которым на лавочке помещался маленький чемодан. Отчего этот господин все молчит? Что это за поведение? Зачем перед ним стоит чемоданчик? Что у него в этом чемодане? Может быть, это и есть «трах-тарарах»? И наверное так... Даже не может быть иначе... Иначе он сдал бы чемоданчик в багаж – и тогда столь очевидная опасность для всех пассажиров значительно уменьшилась бы...

Пассажиры обеспокоились и посылают к незнакомцу депутата с вежливой просьбой удалить проклятый «трах-тарарах» из вагона. Посол говорит: «Не желаете ли вы сдать этот чемодан в багаж?» Пассажир отвечает: «Не желаю». – «А! в таком случае мы к начальству». Кондуктора, жандармы, станционные—все приступают с вопросом: «Не желаете ли сдать», – но пассажир всем дает один ответ: «Не желаю». И голос у незнакомца недобрый, и тон подозрительный, и вид ожесточенный. Все решают, что это «нигилист». Его берегут, глаз с него не спускают и, наконец, у городской станции требуют, чтобы он вышел. Он выходит очень охотно, потому что ему тут и надо было выйти, но чемодана брать не хочет. «Не желаете ли взять с собою этот чемодан?» Он отвечает: «Не желаю». Его ведут к допросу, спрашивают, кто он такой, и узнают, что он «прокурор судебной палаты», а чемодан оказывается принадлежащим еврею, который скрывался без билета под лавкою. – Картина. Все успокоиваются, смеются и

едут далее... И вдруг все это вымышленное мною шуточное событие будто бы повторяется в действительности, и где же? – в Италии с председателем окружного суда из Равенны, проезжавшим через маленький городок Форли. Есть кое-какая перемена в лицах и обстановке, сообразно условиям местности, но вся фабула та же.

Узнав об этом 11-го января из «Новостей», я не только изумился, но даже испугался...

«Как, – подумалось мне, – неужто и до того должно было дойти, что „оскудение“ ощущается уже не в области литературного вымысла, но даже в самой жизни, изобретательность которой всегда почиталась столь разнообразною и неистощимою. Неужто и она вдруг притупела, и вместо того, чтобы постыждать нас бледностию наших измышлений перед живостью истинных событий, она нисходит до того, чтобы разыгрывать на своих клавишах несовершенные наброски нашей композиции... Но однако, к счастью, еще не утрачено право думать, что это не так, – что действительная жизнь наших литературных фантазий не разыгрывает, а совпадение, какое случилось в Италии после моего рассказа, придумано, быть может, знакомым с русским языком немецким корреспондентом».

И мне стал припоминаться целый рой более или менее замечательных историй и историек, которые издавна живут в той или другой из русских местностей и постоянно передаются из уст в уста от одного человека другому. Большинство из них пользуется репутацией самых достоверных событий и сообщается с указанием собственных имен, места и времени событий. Рассказы эти ведутся так, что усомниться в справедливости их часто значило бы оскорбить не одного рассказчика, но всю местную публику, разделяющую его верования, а между тем верить в действительность упоминаемых событий очень трудно и иногда даже совсем невозможно.

Между тем все подобные истории должны быть дороги литературе и достойны сохранения их в ее записях. Эти истории, как бы кто о них ни думал, – есть современное продолжение народного творчества, к которому, конечно, непростительно не прислушиваться и считать его за ничто. В устных преданиях или даже в сочинениях этого рода (допустим, что есть чистейшие сочинения) всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности. А что это действительно так, в том меня достаточно убеждают записи, сделанные мною во время моих скитаний по разным местам моего отечества. Так, например, в преданиях (или, пожалуй, в вымыслах) малороссийских всегда преобладает характер *героический*, напоминающий сродство здешней фантазии с вымыслами польских сочинителей апокрифов о «пане Коханку», а в историях великорусских и особенно столичных, петербургских, – больше сказывается *находчивость*, бойкость и тонкость плутовского пошиба. Очевидно, фантазия людей данной местности выражает их настроение и, так сказать, создает сама себе своих козырей для своей игры. Но замечательно, что все эти козыри, как герои, так и плуты, – все в своем роде выходят как будто в свою очередь тоже и «*психопаты*».

Я очень ценю такие истории, даже и тогда, когда историческая достоверность их не представляется надежною, а иногда и совсем кажется сомнительною. По моему мнению, как вымысел или как сплетение вымысла с действительностью – они даже любопытнее. Я передам здесь некоторые из них не только затем, чтобы сохранить эти памятники общественного творчества, но и для того, чтобы вызвать некоторым из них этим путем проверку. Быть может, то, что мне кажется невероятным, или сочиненным, или заимствованным из каких-то посторонних источников, – происходило и на самом деле, но только переиначено и преувеличено. Кто-нибудь из местных людей может отозваться к моим записям и поправить их сведущими сообщениями, и тогда пред нами предстанет ряд житейских курьезов, которые до сих пор не переходят за границу своих местностей.

Я начну с *героического* – с рассказов малороссийских, в которых более грандиозного, наивного и, как мне кажется, преувеличенного, но во всяком случае весьма своеобразного.

Эпопея о Вишневском и его сродниках

Вот вам помещик благодатный.

Из непосредственных натур.

И. Тургенев

Глава первая

В Переяславском уезде, Полтавской губернии, был помещик Иван Гаврилович Вишневский. Он получил от щедрот императрицы Елисаветы Петровны большое имение по обоим берегам реки Супоя (реки Удай и Супой отмечены в одной географии «неспособными к судоходству по множеству пороков»). Имение это состояло из двух больших деревень, из которых одна называлась Фарбованая, а другая Сосновка.

Старый пан Иван Вишневский жил и умер в этом имении, а после его смерти Фарбованая и Сосновка достались сыну его, Степану Ивановичу Вишневскому, который оставил по себе героическую известность – может быть, сильно дополненную и разукрашенную домыслами во вкусе местной фантазии.

Степан Иванович был атлет и богатырь, а притом также хлебосол, самодур и преужасный развратник, но имел образование. Он был одним из тех молодых людей, которых императрица Екатерина посылала в Англию «для просвещения ума и сердца».

По возвращении из Англии он поступил на службу в конногвардейский полк, но как только дослужился до чина поручика – вышел в отставку, женился на тверской дворянке, девице Степаниде Васильевне из рода Шубинских, и поселился в Москве в собственном доме.

Делать Вишневскому здесь было нечего, и он начал «чудить».

Прежде всего он надумал импонировать москвичам своей хохлацкой «нацией». Он не хотел никого знать – одевался по-хохлацки, много пил «запридуху» и ел, будто, одно только медвежье мясо.

Императрице доложили, что Вишневский «не соблюдает светских приличий», и тогда самодуру было сделано замечание. Он решился исправиться и с этой целью вытребовал себе из Малороссии в Москву хохлацкую телегу с парюю волов и парубка, который умел этими волами править. А как только наступил день обычных и для всех видных лиц в столице обязательных визитов, Степан Иванович собрался «объезжать всех именитых людей с визитами». Но выехал он не налегке, в одном экипаже, а с целым поездом. Впереди скакал жокей на кургузой английской кобыле, за ним следовала цугом запряженная прекрасная карета, в которой сидел камердинер, а за каретою ехала телега или хохлацкий «воз», заложженный парюю сивых круторогих волов, и на этом возу помещался пан Степан. Он сидел, как обыкновенно садятся малороссийские крестьяне – то есть посередине телеги, на кучке раскинутой ржаной соломы, и курил с флегматическим спокойствием коренковую трубку излюбленного хохлацкого фасона. Волами правил хохол в затрапезных шароварах «ширше облака», в дегтярной рубахе с прямым воротом, в «тяжких чоботах» и в высокой смушковой шапке. Хохол шел около волов с батоном и придерживал их за ременный налыгач, «щоб ни злякались як торохтыть город», а сам покрикивал где надо: «цо-бе», а где надо: «цоб».

Жокей имел список особ, которых должен был посетить этот задичавший европеец. Справляясь с списком, жокей скакал вперед и, прискакав на двор стоявшего в списке вельможного лица, возвещал:

– Мій пан іде!

А когда поезд показывался, жокей оборачивался к нему лицом и опять в голос кричал:

– Ось сам пан Вишневський приїхав!

Тогда карета останавливалась у крыльца, из нее вылезал камердинер Степана Ивановича и шел спрашивать, угодно ли хозяевам принять его господина?

Если Вишневского принимали, – тогда карета отъезжала далее, а к крыльцу подъезжал «воз» на паре волов, и Степан Иванович входил в покои и щедро одарял всю попадавшуюся ему на глаза хозяйскую прислугу. В апартаментах он вел себя барином и европейцем, щеголяя прекрасными манерами, отличным знанием языков и острою едкостью малороссийского ума.

«Бо був собі шутковатій, и знав усе по-хрянцузськи и по-вложски и на усі языки умів хвалыть господа. Але тьлько до того був лінивий».

Глава вторая

Ел Вишневский, как выше сказано, будто бы только одну медвежатину и для того содержал в одном из тверских имений жены «медвежий питомник». Медведей там кормили и доставляли в Москву, к столу Степана Ивановича. К полиции Вишневский имел врожденную и непобедимую ненависть, и ни один полицейский не смел отважиться войти к нему во двор, не рискуя натерпеться всяческих обид, если только попадется на глаза Степану Ивановичу. Дом Вишневского в Москве для полиции был недоступен и, по тому ли или по другому, скоро получил себе весьма таинственную и несколько нелестную известность. Более всего ей помогали безнравственные инстинкты Вишневского по отношению к женщинам, или, пожалуй, точнее сказать, к детям женского пола. Полиция, в свою очередь, ненавидела Степана Ивановича и подыскивала случаи ему отомстить за его невежества, но долго никакого удобного к тому основания не находила. Наконец, однако, к тому представился случай: один раз дворная собака вытащила на улицу и обронила не совсем еще лишенную мускульных связей пясть, которая была признана стопою небольшой человеческой ноги. Через несколько дней это еще раз повторилось. За собакою подсмотрели и увидали, что она таскает эти кости из мусорной ямы. Прислуга соседних домов стала говорить, что Вишневский производит бесчинства над своими крепостными девочками и потом будто бы их убивает. Скоро стали производить счет девочкам, будто бы безвестно пропавшим, и даже называли их по именам.

Полиция не только усмотрела в этом достаточный повод вмешаться в дело, но даже сочла это своею прямою обязанностью, – что и в самом деле так было. С этою целью на двор Степана Ивановича явились пристав и квартальный и приступили к осмотру той ямы, откуда собака таскала подозрительные кости. Верные слуги Степана Ивановича не позволили полиции приступить к осмотру, не известив своего «пана». Степан Иванович надел архалук, сам вышел к полицейским и велел им открыть яму. Там, к радости полицейских, нашли множество таких точно костей, какие послужили поводом к подозрению, но тут же было доказано, что это отнюдь не ступни человеческих ног, а лапы убитых для стола Вишневского молодых медвежат.

Полицейские сконфузились и начали извиняться перед Степаном Ивановичем, говоря, что они были вовлечены в ошибку сомнениями и ложными слухами.

Вишневский их извинил и... тут же отстегал кнутом.

Эта острая выходка имела для него последствием то, что ему велено было оставить Москву и жить в малороссийских деревнях, пожалованных его отцу Ивану Гавриловичу от щедрот императрицы Елисаветы Петровны.

Вишневский должен был подчиниться сказанному требованию и переехал в Переяславский уезд в Фарбованую, чтобы колобродить там еще на большей свободе.

Случай с медвежьими лапами приписывается московскими рассказами нескольким лицам, и Степану Ивановичу Вишневскому он усваивается только одними малороссийскими преданиями, сложившимися преимущественно по равнинам, орошаемым реками Удаем и Супоем. Что же касается визитов по Москве на паре волов, то в этом роде как будто что-то было, но в

московских преданиях об этом мне никогда не удалось услышать о такой оригинальной выходке ни малейшего воспоминания. На этом основании рассказ этот, кажется, должно считать сомнительным; но между обитателями равнин Удая и Супоя много охотников крепко стоять за справедливость этой истории, и на все доводы о том, что это ничем не подтверждается в Москве, они с самоуверенною презрительностью оттопыривают свои толстые казацкие губы и говорят:

– От тоже, – захотілы вы на Москві правду шукать!

Глава третья

Когда Степан Иванович Вишневский поселился в своих малороссийских маестностях, то он себе построил дома в обеих деревнях, по обе стороны достославного Супоя – в Фарбованной и Сосновке. При обоих домах, отремонтированных на широкую барскую руку, содержались обширные штаты прислуги, выезды охоты, конные заводы и гаремы, которыми, впрочем, Степан Иванович не довольствовался и пользовался еще широко своими правами падишаха на всех женщин своего подданства. Жил он попеременно то в одном своем имении, то в другом и везде содержал раз установленные им своевольные порядки. Он считал себя в полнейшем праве приводить всех, как он выражался, «в свою крещеную веру» – и свободно и беспрепятственно достигал всего, чего желал достигнуть.

Между всеми прихотями его своенравия и здесь прежде всего обозначилась ничем не умиряемая ненависть Вишневского к полиции. Как только он приехал в деревню, так тотчас же сделал распоряжение, чтобы ни исправник, ни пристава и никто из чиновников не смели ездить по его владениям с колокольчиками. Крестьянам было приказано, чтобы они останавливали каждого, кто едет с колокольчиком, и осведомлялись – кто он такой. Если проезжающий был дворянин или вообще частное лицо, то его было велено отпускать и при этом говорить, что земли, по которым он едет, принадлежат пану Вишневскому и что этот пан «любит и шанует» честных гостей – для чего проезжающих и приглашали «до господы», чтобы «отпочить с дороги», то есть отдохнуть от путевых трудов и «откушать панского хлеба-соли». Если проезжающий торопился и не хотел заезжать «на гостинци», а учтиво благодарил, то его насильно не задерживали, а так же «учтиво» позволяли следовать далее и не возбраняли звонить колокольцем. А если проезжий не спешил и изъявлял согласие заехать к пану, то его провожали в Фарбованую или Сосновку, смотря по тому, в которой из этих деревень жил в то время пан Вишневский.

Степан Иванович встречал всех таких гостей радушно, не разбирая их чинов и званий, и угощал их по-тогдашнему роскошно и обильно – иногда даже слишком обильно, так что иные от его хлебосольства даже занемогали. Но приневоливания ни в пище, ни в питии не было, а только все предлагалось «до отвалу», и если кто-нибудь себя превозмогал до излишества, то в этом вины и насилия со стороны Вишневского не было, а всякий неосторожный гость должен был пенять на самого себя и безропотно казниться за свою неумеренность.

Многим из гостей, которые оказывались людьми нуждающимися, Степан Иванович даже оказывал значительное пособие, а офицерам всегда любил дарить что-нибудь ценное на память. И такой широкий обычай был причиною того, что его ласка и хлебосольство делали его очень милым и любезным. Но чуть только дело касалось чиновников и особенно полиции – Степан Иванович являлся по отношению к ним самым грубым тираном, и требования, какие он простирали к этим несчастным лицам, были в такой степени суровы и для них унижительны, что даже трудно верить – как они могли им подчиняться и не находили средства оградить себя от фарбованского причудника.

Как только исправник или пристав подъезжали к граничной меже владений Вишневского, они должны были остановиться и подвязать язычок колокольчика, чтобы он не звонил. Иначе крестьяне останавливали блюстителя порядка, должны были *отвязать* колокольчик и

немедленно отнести его в господский дом к самому пану. Сопrotивление со стороны полицiantа угрожало ему двойною опасностью – быть побитым от крестьян, которые могли производить это в «панскую голову», то есть на ответственность самого помещика, а потом виновного отвели бы к «пану», у которого всякого полицейского по меньшей мере ожидал невероятно унижительный, но с неупустительною строгостью соблюдавшийся особый церемониал.

Покорный и непокорный, честный или притязательный полицейский чиновник был у Степана Ивановича «в одном расчислении». В честность их он, впрочем, нимало не верил и, кажется, на этот счет не очень сильно ошибался. Правилom его было то, что *никакой* чиновник ни для какой надобности и ни под каким предлогом не мог переступить через порог его дома. Если исправник или пристав имели к нему служебную надобность или вынуждены были явиться к нему с какою-либо претензией или просьбою, то они знали, что должны ехать по его владениям «без звона», как можно тише и останавливаться у околицы, – отнюдь не смея въезжать на лошадях в его усадьбу. По усадьбе и по двору они обязаны были идти пешком и, сняв шапку у ворот, проходить мимо окон дома не иначе, как с открытою головою.

Иначе, при малейшем нарушении этого правила, адресированная прислуга сейчас же взяла бы их под локти и заворотила назад, «наклав им при сем добре по потылице». А так как это соблюдалось крепко и верно, то никто и не смел думать ослушаться и сопротивляться. На этом, однако, унижения еще не кончались: чиновник не допускался далее крыльца, под которым жили огромные меделянские собаки. Здесь чиновник должен был стоять и ожидать, пока Степан Иванович вышлет к нему «комнатного казака», то есть, просто говоря, лакея. С лакеем чиновник должен был «поздороваться вровнях», то есть подать лакею руку, и затем только мог изложить тому же лакею цель своего приезда к пану.

Если Вишнеvскому казалось, что надобность, за которою приехал чиновник, не стоит внимания, то он приказывал «прогнать его вон». А если надобность была какая-нибудь дворянская или объявление ему чего-либо из высших сфер, то Степан Иванович надевал на себя бекеш, шапку, сам выходил на крыльцо и выслушивал чиновника, стоя к нему все время боком и никогда не глядя ему в лицо.

Затем Вишнеvский молча уходил, а лакей подавал чиновнику на тарелке рюмку водки и пятидесятирублевую ассигнацию. Чиновник должен был выпить водку и потом взять себе на «закуску» пятьдесят рублей (хлеба-соли в их натуральном виде чиновникам в доме Вишнеvского не предлагали). Если же чиновник, паче чаяния, как-нибудь высоко о себе мнил и не стал бы выпивать вынесенной ему на крыльцо рюмки водки, то он не мог получить и денег, положенных на закуску. В таком «Случае лакей должен был *столкнуть* его с крыльца и водку выплеснуть ему в спину, а закусовые пятьдесят рублей взять себе в свою пользу и дернуть за веревку, а эта веревка шла к железной клямке от двери, за которою сидели под крыльцом меделянские собаки.

Зная все это, чиновники никогда не отваживались обнаруживать хотя бы самоналейшее сопротивление установлениям Степана Ивановича и... даже были очень рады, когда им встречалась надобность появиться на крыльце фарбованского пана.

Если все это несомненно так, как гласят предания, то пятьдесят рублей на закуску, очевидно, имели тогда свою высокую цену.

Глава четвертая

В отношении целомудрия и нравственности вообще Степан Иванович слыл человеком бесцеремонным и притом самым наивным. Впрочем, в этих отношениях он имел себе очень много подобных и равных, но в его героической эпопее в этого рода делах чрезвычайно оригинальную представляется роль его супруги Степаниды Васильевны, рожденной Шубинской,

которую тоже, кажется, есть полное основание называть психопаткою – хотя, впрочем, в ином роде.

Она была, как выше сказано, тверская дворянка и образованная барыня из очень хорошего рода. Супруга своего она любила и жила с ним всегда в постоянном согласии. От союза ее с Степаном Ивановичем у нее были две дочери, из которых рождение второй было очень неблагополучно, и Степанида Васильевна сделалась „навек не человек“. Степан Иванович стал с нею сепаратничать: если она жила в Фарбованой, он уезжал в Сосновку, а если она была в Сосновке, то он съезжал в Фарбованую. Видя это и, как говорила Степанида Васильевна, „любя своего мужа“, она стала прилагать всякие заботы, чтобы он „от нее не удалялся“ и чтобы ему и при ней „жить было не скучно“. С этою целью она устраивала у себя девичьи посиделки, на которые девушки шли неохотно и со слезами, но Степанида Васильевна их обласкивала и угощала до тех пор, пока те освоивались и переставали плакать. Тогда Степанида Васильевна писала мужу и приглашала его к себе „прибыть, на девиц полюбоваться“. А он ей отвечал: „Очень тебя благодарю и заботы твои обо мне ценю, а впрочем, в главном выборе я на твой вкус больше, чем на свой собственный, полагаюсь“.

Такой ответ мужа не только радовал, но и умилял Степаниду Васильевну. Чувства ее к Степану Ивановичу горели сугубым пламенем, и она ему вскорости же опять нетерпеливо отписывала: „За доверие твое, бесценный друг мой, весьма тебя благодарю, и в рассуждении моего вкуса, в чем на меня полагаешься, от души тебе угодить надеюсь, но только прошу тебя, ангел моей души, – приезжай ко мне сколь возможно скорее, потому что сердце мое по тебе стосковалось, и ты увидишь, что я не об одной себе сокрушаюсь, но и твой вкус понимаю. Дети наши обе здоровы и тебе кланяются и целуют ручки“. Подпись: „Твоя верная жена и раба Степанида“.

Степан Иванович, получив такое послание, оставлял отдельное житье и приезжал к супруге, которая вполне достигала того, что ему „жить в одном доме с нею становилось нескучно“.

Она не только ласкала и нежила ею же избранных для своего мужа фавориток, но нянчила и выхаживала его детей, которых при таком патриархальном порядке панской жизни в Фарбованой народилось очень много.

Сам Вишневецкий далеко не был так чистосердечен и искренен, как его жена: когда растленный нрав Степана Ивановича начинал прискучать тою особою, которая была призвана к обязанности „делать его жизнь нескучною“, Вишневецкий начинал собираться „пожить один в другой деревне“.

Степанида Васильевна это тотчас же понимала и хотя не перечила мужу, так как мир и согласие супружеское она, по завету предков, ставила выше всего на свете, но через некоторое время она опять устраивалась и писала ему тихое и ласковое письмо, где говорила: „Хитрости твои и твоя со мною в важных делах неоткровенность очень меня, мой друг, огорчают и терзают, потому что я их ничем не заслужила. Бог видит мою правду и истину, что люблю тебя больше всего на свете, и от разлуки с тобой сердце мое по тебе иссушается как трава, но горячая слеза текущая не высыхает. А ту особу, которая незанимательностию своею тебя утомила и прискучила, я своим рачением без больших хлопот совершенно устроила, и все они нынче своим положением теперь вполне довольны и благодарят. А ты бы если поспешил ко мне, то мог бы теперь полюбоваться на очень приятные лица. Дети же наши обе благостию божиею хранимы, – живы и здоровы и об отце своем молятся“. И опять та же подпись: „жена и раба“.

В ответ на это от Вишневецкого следовали комплименты жене, с повторением полного доверия к ее вкусу, и затем Степан Иванович вскоре возвращался под семейный кров. Его ждали, разумеется, тимпаны и лики, ласки и восклицания, и телец упитанный, и все, все, что было нужно, чтобы сделать его счастливым, как он желал и как это могла устроить его неж-

ная-пренежная жена, которая имела несчастье из живой и очень милой женщины стать „навек не человек“.

Глава пятая

После описанных уже перипетий Степан Иванович исправился в отношении своей скрытности и недоверия и никогда не прибегал более к хитростям сепаратной политики.

Степанида Васильевна, по словам крестьян, „доглядала его, як маты свою дытыну“.

Невероятная, примитивная простота этих отношений, напоминающая собою библейский рассказ о Сарре и об Агари, становится еще невероятнее, если дать веру частностям, которые рассказывают о житье этих супругов.

Степан Иванович был какой-то чистый турок. По отношению к своим многообразным привязанностям он совмещал в себе все роды любви, от мимоходных неосторожностей до привязанностей к одалискам и к первой султанше. Мимоходное, конечно, ни во что не ставилось и не подлежит счету; а роль первой султанши, разумеется, занимала его законная жена, которую он со своей стороны тоже, пожалуй, по-своему любил, и во всяком случае уверял, будто очень ее „уважает“.

– Если кто сделает что-нибудь против меня, – говорил он, – то это я еще, пожалуй, могу простить, но если бы кто-нибудь только помыслил вслух сделать что-нибудь к обиде Степаниды Васильевны, то кто бы он ни был, я везде его достану, и сам царь Иван Васильевич не выдумал такой казни, какую я расказню грубияна бесценной жены моей.

Все это знали и знали тоже, что Степан Иванович не шутит и что говорит, то и выполнит, и потому никому и в голову не приходило обнаружить хоть малейший признак неповиновения или ослушания Степаниде Васильевне. Но не все одинаково разумели такую ревнивую заботу Вишневого о жене, и между тем как один приписывал ее безмерной его к ней нежности – другие усматривали в этом хитрость, которая и в самом деле была в значительной мере доступна хохлацкой натуре Вишневого. Думали, что он „нагонял страх“ всем за жену более для того, чтобы ее требования к услаждению его жизни любовью крепостных одалисок не встречали ни малейшего противоречия, так как всякое самое малейшее ослушание ей он наказал бы так, что царь Иван Васильевич во гробе бы содрогнулся.

Впрочем, было это так или иначе, с положительностью сказать невозможно, но есть положительные рассказы, что, крайне развращенный и до жестокости бесцеремонный в своих мимоходных делах, Степан Иванович любил вносить своеобразную поэзию в свои отношения с одалисками, избранными для него на вкус его первой султанши. И он умел достигать этого без всякого принуждения своей натуры, в которой обнаруживалось в этих случаях нечто нежное и чувствительное. Он, подобно Дон-Жуану, мог похвалиться, что не только не оскорблял молодые существа грубостью, но даже „никогда не обольщал с холодностью бесстрашной“. Нет, он приезжал в дом жены, где ее любовь приготовила ему утеху, с нежною ласковостью, и оба супруга вместе выносили избранницу, „как соколку по зорькам“. Они ее приласкивали, наряжали, лелеяли, она жила в комнатах Степаниды Васильевны, пестро разодетая, утопая в неге и пресыщаясь лакомствами, и сама не замечала, как переходила из одной роли в другую, словно в тумане долго не сознавая того, что с нею случилось и чем это должно было окончиться. Все эти одалиски вступали в свою роль в годах едва окончившегося детства, когда еще голова бедна опытом и представления о грядущем слабы, а жизнь полная утех в настоящем заманчива. Из них многие искренно располагались душою и сердцем к своему повелителю, или по крайней мере не тяготились им, а Степаниду Васильевну даже любили, „як маты“. И она их действительно ласкала как мать и ободряла как старшая гаремная подруга, наслаждавшаяся тем счастьем, какое младшие одалиски доставляли ее любимому падишаху. В доме жена, муж и дежурная фаворитка почти не разлучались и большею частью проводили время втроем, но к

некоторым из одалисок Степа» Иванович пристращался до того, что не мог с ними расставаться даже и на одну минуту. Вишневский пристращался к возлюбленной не только чувственно, но и любовно, как пылкий юноша, и, покидая дом в случаях неизбежных, брал ее с собою, переде-тою казачком или арапчиком, на попечении которого будто состояли янтари его роскошных чубуков и кисет с табаком, который надобился ему беспрестанно, так как Степан Иванович курил даже ночью, и потому «трубочный мальчик» был при нем безотлучно.

Полагали, что в подобных случаях Степаном Ивановичем до известной степени руководила ревность, но это предположение не имеет основания, так как Вишневский, конечно, ничем не рисковал бы, если бы оставил девушку на попечение Степаниды Васильевны: и потому гораздо вернее думать так, как передавали люди, ближе знавшие этого малороссийского психопата, – то есть, что он просто страстно влюблялся в своих фавориток и не мог с ними расставаться до тех пор, пока страсть его совершала свое течение и остывала.

И чем страстнее была привязанность к известной одалиске со стороны Степана Ивановича, тем бульшую нежность и заботу это лицо вызывало к себе со стороны его жены. Проходила страсть у Вишневого, и он «отъезжал за Супой», а Степанида Васильевна брала на себя заботу устроить старую «утеху» и приуготовить новую, которая снова возвратила бы фарбованского пана с того берега.

Трагического в этих развязках никогда не было. Благодаря такту, сердоболию и щедрости Степаниды Васильевны все эти дела устраивались мирно и ладно, ко всеобщему удовольствию всех мало-мальски близких к девушке лиц. Исключение составлял единственный случай с пятнадцатилетнею крестьянскою девочкою, занявшею особенно сильное положение в сердце Вишневого и оставившею ему сына и неприятный след в его воспоминаниях.

Глава шестая

Местные предания сохранили самое имя этой стройной, «як былинка», черноокой девушки, приблизившейся к своему пану в довольно уже поздние годы его жизни. Ее называют Гапка Петруненко. Она была так хороша, «що аж очам мило було на нее дивитися», и, как показывает ее история, имела сердце чуткое и очень восприимчивую душу. Вишневский мог обнять ее тонкий стан, ее талию перстами своих рук и так любил ее, как никакую другую, ни до нее, ни после ее пользовавшуюся его фавором. Он одевал ее в розовый атлас и в кофты, сшитые из дорогих турецких шалей, носил ее на руках и целовал ее ноги.

Видя такую неутолимую привязанность мужа к этой девушке, Степанида Васильевна тоже пестовала ее до забвения о себе и о своих дочерях, из которых старшей тогда уже шел двенадцатый год. Степанида Васильевна сама плела на день черные косы Гапочки, сама их расплетала на ночь и подкуривала ароматами, пахучий дым которых проницал густые волосы и держался в них с смолистою силою. Она не позволяла ничьим низким рукам коснуться до ее тела и даже сама орошала крепким настоем душистых роз ее ноги, к которым на ее же глазах в страстном самозабвении припадал устами Степан Иванович. Словам, эта прелестная девушка была фавориткой из фавориток, и пребывание ее в доме Вишневских заключало в себе много от всех отменного. Степан Иванович, даже выезжая на окоту с борзыми, брал Гапку с собою и не довольствовался тем, что она, одетая черкешенкой, едет в покойном рыдване, а брал ее оттуда и возил перед собою на седле. Когда же девушка уставала от неудобного и утомительного путешествия на лошади и сон начинал клонить ее головку, – Вишневский не отдавал ее ни на чьи чужие руки, а тотчас же прекращал полеванье и бережно, на своих собственных руках, вез Гапку домой. И боже сохрани, чтобы кто-нибудь из его свиты завел в это время какой-нибудь шум и нарушил им детский сон возлюбленницы пана!.. Виновный не миновал бы сырой ямы и ременных арапников.

Так же бережно Вишнеvский опускал с рук это дитя у крыльца на руки встречавших его людей и сам сопровождал их, когда они переносили Гапку во всякой тишине в покои Степаниды Васильевны.

Здесь ее раздевали и укладывали на атласные подушки широкого турецкого дивана, на котором с краю садились и сами супруги пить чай. И во все это время они не говорили, а только любовались, глядя на спящую девушку. Когда же наставал час идти к покою, Степанида Васильевна вставала, чтобы легкою стопою по мягким коврам перейти в смежную комнату, где была ее опочивальня, а Степан Иванович в благодарном молчании много раз кряду целовал руки жены и шептал ей:

– Ты мой ангел-хранитель – я тебя обожаю!

Степанида Васильевна чувствовала и разделяла счастье мужа с способностью, быть может ей одной только свойственной по своей невероятной прихотливости.

Она уходила в спальню, долго там молилась перед лампадою и потом опять неслышными стопами входила в смежную комнату, где розовая Гапка спала, обняв крепкими молодыми руками подушки, а атлетическая фигура Вишнеvского лежала на ковре, с головою, прислоненною к дивану, в ногах спящей девушки.

Степанида Васильевна крестила их обоих и уходила на свою вдовью кроватку, и сон ее был тих, мирен и живителен... И во всем этом странном и несогласимом, по-видимому, сочетании чувств и отношений она не видала ничего для себя унижительного и даже ничего неудобного, а напротив, ей казалось, что все идет именно так, как только может идти лучше.

Безграничная любовь этой женщины к мужу и огромное несчастье, заключавшееся для нее в условиях ее здоровья, как-то смешивались, ее нравственные понятия никому не были ясны и понятны. Передавая эти сказания в сборе отрывочных сведений из нескольких уст, я не стану и стараться пояснить личность Степаниды Васильевны Вишнеvской каким-нибудь более точным определением. Думаю лишь, что по нынешним временам это подходило бы к тому, что называют «психопатией». Я передаю только любопытный рассказ, как сам его слышал, и не произношу над характерами и правилами героев этих легендарных сказаний никакой своей критики.

Я думаю, что дело главным образом теперь не в критике, от которой все именуемые здесь лица ушли уже в царство теней, а в сохранении на память потомству удивительной непосредственности их характеров и прихотливой, оригинальной их жизни.

Нам хорошо известны бурные натуры наших великорусских дворян, при которых, по выражению поэта, жизнь «текла среди пиров, бессмысленного чванства, разврата мелкого и мелкого тиранства, – где хор подавленных и трепетных людей завидовал житью собак и лошадей». Здоровое, реальное направление нашей русской литературы, быть может порою заслуживающей и укоры за излишний реализм, показало нам нашу великорусскую жизнь налицо. Мы знаем, каковы наши «ветхие мехи», затрещавшие при игре влитого в них молодого вина; но писатели малороссийского происхождения не следовали нашему, может быть единственно полезному в настоящее время, литературному направлению. Жизнь малороссийского козырного барства от нас скрыта романтизмом или крайним простонародничеством малорусских писателей. Если она где-нибудь изредка и представляется, то почти всегда в напыщенных формах, напоминающих бесконечные польские истории о «пане Коханку». Меж тем малороссийское барство имеет свою оригинальность, которая стоит изучения и которая в то же время способна проливать довольно яркий свет на те особенности малороссийского характера, какие, по замечанию Шевченко, представляют миру «славних прадідов вельких прауноки погани».

Небесполезно посмотреть на представителей той серединой генерации, которая лежит пластом между «прадідами и прауноками» – между теми, которых национальный поэт величал «велькими», и теми, которых он считал за «поганых». Перед нами теперь фигуры, стоявшие на

водоразделе этих двух главных течений, из которых одно несло будто на себе малороссийский край к незапятнанному величию, а другое повлекло его к неисправимому «поганству».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.